

Иванова — «Книга мертвых» его — повествует о странствии подсудимой души по пространствам загробного мира...

Недоуменные лепеты детского духа встают в этом месте из «лирика» Вячеслава Иванова: «Нищ и светел, прохожу я и пою; отдаю вам радость светлую мою...» Или: «Весело по цветоносной Гее я иду неведомо куда»****.

И оттого-то, судя здесь «*Озириса*» Вячеслава Иванова, верим мы в *Горуса*⁶⁸, все еще могущего встать из-за мрамора стен прославляемой им культуры, уже упadaющей в грохот пушек и реве народных стихий.

Сирин ученого варварства (по поводу книги В. Иванова «Родное и вселенское»). Часть 2

VII

В теоретических размышлениях своей книги «Эллинская религия страдающего бога» и в многообразных статьях Вячеслав Иванов с одной стороны учит нас: «бог» — рождение дионисовых сил в человеке: он — «миф» человека-вакханта, переживающего все застывшие истины, догматы, вещи в расплавленном состоянии экстаза, когда они — становления; в дионисовых силах — трагедия; музыка — подоснова ее; уж Вагнер простер из Байрета над драмой ковер мифотворчества; но нерва античной трагедии — дифирамба — не дал он; а здесь в дифирамбе определяется соборностью хора герой; народ, среда, община — вот основа театра; и отрешение от народных целин убивает театр; все художество лишь момент в жизни драмы, а эта последняя отражает глубинную драму борений народной души в ее прорастании ... к свету; «хор» рождается в зрителях; зрители — это народ, высылающий представителей в «Советы», творящие народную жизнь; эти «Советы» — оркестры¹, разбросанные здесь и там; драма, собственно, для Вячеслава Иванова есть народная литургия: высшее напряжение творчества жизни народа; рождение «Диониса-младенца» —

**** КЗ.

рождение формы жизни народа; законодательство — оплотнение творческих мифов до кристаллических остановившихся форм; государственность — отложение церкви народной; такой церковью была элевзинская церковь для грека²; но там, в глубине мистерии драмы, давались народные импульсы для проведения после их в жизнь через афинское законодательство. Современность, бунтуя против мертвой окостенелости форм — всяких форм (эстетических, религиозных, общественных, государственных, нравственных) — обращается к темным корням в нас клокочущего индивидуализма, соединенного с творческим клокотанием народных стихий; «революционер» Вячеслав Иванов приветствует чаяния революционно-духовного максимализма в философии Фридриха Ницше и в драматической идеологии Ибсена; здесь встречаются нас «прорези» творческих молний грядущей грозы, собирающейся над человечеством темною, по весеннюю тучею; Достоевский предчувствует грозу; и Толстой возникает, как кризис сознания³; все холодное, «ставшее», рассуждающее уже топится в нарастающей в нас дионисовой бездне; остановившийся и дряхлеющий мир не приемлют титаны эпохи; Достоевский, Ибсен, Толстой, Фридрих Ницше убегают от старого мира в уединенные кельи; мотив неприятия старого — Канто-Декартова — мира соединяет их в тайную общину бунтарей: кельи будут распахнуты, и бунтари (или «вакхи» без «Вакха») соединятся для таинства богорождений через приятие в свою душу народных, подземных стихий; лишь в возрожденном народе трагедия — будет*.

Вот естественно вытекающие ходы мыслей из теории Вячеслава Иванова о театре. Казалось бы: русская революция должна вызывать в нем ноты радости; и казалось бы: Вячеслав Иванов, как новый богоприимец, при виде младенческой, в муках рождаемой новой России, должен был бы сказать: «Видели очи мои спасение всех людей»...⁴

* Сюда: «Эллинская религия страдающего бога», книга статей «Борозды и межи» («Существо трагедии», стр. 235–258, «Эстетическая норма театра», стр. 201–279, «О Достоевском», стр. 124, «Лев Толстой и культура»); далее сюда книга «По звездам» («Кризис индивидуализма», предчувствия и предвестия, стр. 189–258 и т. д.).

VIII

В самом деле: ныне плавятся в нас все застывшие истины, догматы, вещи; революционные теории прошлого не вместили в себя происшествий действительности; мы должны уловить ритм грядущих теорий в их расплавленном состоянии; ныне все — становление; трагедию проростания дионисовых сил через корост разбившейся жизни мы слышим, как музыку; уж не Вагнер простер из Байрета над драмой ковер мифотворчества, а Россия простерла над миром огни великолепнейших мифов; дифирамбична до ужаса русская жизнь; «дифирамбичность» разбила остывший диалог разорванных политических партий, построивших свои бледные лозунги на логике позитивного Канта-Декартова мира, столь ненавидимого Вячеславом Ивановым, русская современность, бунтуя против мертвой окостенелости позитивно исчисленных политических форм, черпает свои силы из прорастающих зерен народной стихии.

Сорвана мертвая, Аполлонова маска с народного представительства, и образуется хор «Советов»; вся глубинная драма борений народной души, где слагаются «мифы» о новых, невиданных формах свободной, сияющей жизни — приподымаются, бьют наружу, как лава из жерл распахнувшихся кратеров; вся Россия, к негодованию, к ужасу материалистов культуры, теперь сгруппированных для защиты ветшающих ценностей — вся Россия покрылась «оркестрами», потому что «Советы» — «оркестрии», столь чаемые Вячеславом Ивановым; материалистически-абстрактные взгляды на государство, одновременно и грубо-чувственные, и черствые — плавятся; кристалически-мертвые формы, заплываясь, текут живоносными струями переменной действительности; и проступает сквозь них лик далекого будущего.

Так бы должен приветствовать Вячеслав Иванов, профессор и теоретик, происходящее с нами, — тем более, что в ново-вышедшей книге статей своих, озаглавленных «Родное и вселенское», пишет он еще в предреволюционное время: «Идеал соборности, есть... идеал такого соединения, где соединяющиеся личности достигают совершенного раскрытия и определения своей единственной, неповторимой и самобытной сущности, своей целокупной творческой свободы ... Соборность — задание, а не данность; она никогда еще не осуществлялась на земле всецело и прочно... Некое обетование чудится мне в том, что имя «соборность» почти

не передаваемо на иноземных наречиях, между тем как для нас звучит в нем что-то искони и непосредственно понятное, родное и заветное... Смысл соборности такое же задание для теоретической мысли, как и осуществление соборности для творчества жизненных форм»*.

Не прозвучало ли Вячеславу Иванову «искони... непосредственное, понятное и заветное» в устремлениях народной души, освобожденной от всех футляров и разбитых каркасов? «Совершенное раскрытие и определение своей единственной, неповторимой и самобытной сущности» — не это ли лозунг самоопределения национальностей, вынесенный не из диалога «конституционно-демократических партий», а из «оркестр», из жерл кратеров, которыми забила душа русской жизни в послереволюционное время. «Вздор, безумие, предательство Российского государства», заворчали материалисты и позитивисты всех партий; «разве лозунг этот когда-нибудь осуществлялся на нашей планете?» Казалось бы Вячеслав Иванов ответит на это брюжжание собственной своей фразой: «Соборность — задание; она никогда еще не осуществлялась ... Некое обетование чудится мне в том, что имя «соборность» не передаваемо на иноземных наречиях».

Обетование для Вячеслава Иванова совершилось ли?

Увы, совершилось обратное.

IX

Материалистический взгляд революцию собственно превращает в эволюционную марксову схему; квинтэссенция революций — социальная революция — есть последний этап длинного эволюционного периода, завершающегося «обобществлением орудий производства»; но революция — собственно — пресловутый скачок в нераскрытое царство свободы⁵ — начинается после; «нераскрытое царство свободы» или — пустейшая аллегория безответственных, мыслительных спекуляций, или — действительность, осуществимая нами; осуществима она, если нет границ человеческому дерзновению, если самые формы строительства жизни — непрерывная эманация духовных возможностей; в таком освещении «царство свободы» — граница, где кончаются все возможности зарисовки грядущего данным нам состоянием

* «Родное и вселенское», стр. 45–46.

рассудочной мысли; материализм и рассудочность — связаны; материалистический взгляд на историю есть взгляд рассудочной, ограниченной мысли; упираясь в границы свои, эта мысль неизбежно рисует в одном направлении «первобытную общину», как подлинное начало культуры, а не звено ее; и в другом направлении «царство свободы» не пронцаемое никак; эволюция есть пробег рассудочной мысли от начала ее до ее окончания; эволюции, как начала культуры, и нет; эволюция заключена нашей мыслью между двумя — как бы взрывами; после первого взрыва является перед нами «первобытная община», как выстрел из пистолета; после же «обобществления производств» — другой взрыв, являющий «царство свободы».

Эволюция явлена между двумя революционными взрывами; но эти взрывы — духовность; революция — отрицательное определение инволюции духовных начал в нашу жизнь; разрушительная картина революционных периодов есть иллюзия материалиста, не умеющего с себя сорвать катаракт чувственно-черствого взгляда на мир; имя ей — воплощение бога: революция — воплощение духовного импульса в жизнь; зерно разбивает все коросты прозябая, но для «плесенной» жизни те коросты — жизнь. Смерть — проросшее семя.

Теоретик духовных исканий Иванов глядит на революцию оком отъявленного материалиста и скептика. Полемизируя с Мережковским, соединяющим апокалипсис с революцией⁶, иронизирует он: что общего между этим чаяньем (чаяньем Духа) и историческим началом «революции»...? Далее он прибавляет: «Двум господам вместе служить нельзя»*. А по поводу русской, сверкающей мифами революции замечает наш мифотворец: «самоопределение народное не обнаружилось. Ибо то, что называем революцией, не было народным действием»**. Что же было бы им? «Состояние» народа в милюковском «парламенте»? Конституционная монархия?

Пишет он, оправдывая отношение славянофилов к «властям предержажим»: «полнота свободы народной... не умалялась, но вносился в понятие державства ... религиозный момент: снятие с себя народной совестью ... ответственности перед Богом в определении провиденциальности путей народной истории, которое

* «Родное и вселенское», стр. 81.

** «Родное и вселенское», стр. 179.

поручалось церковью тому, кто укреплялся на это мировое депо таинственным помазанием»* и т. д. Нет, не конституционную монархию провозглашает «революционер» Иванов, а Божия Помазанника: соединением самодержавия с православием пропитаны эти строки и приглашением народа быть безответственным под священной десницею Белого Царя. Представление о царе, как сыне церкви, — по Иванову суть исконные представления наши: трагедией пропечатано царство**.

Оттого то он признает революцию русскую чуть не несчастием, стрясшимся некстати на нас и оторвавшим от «подлинно заповедного и вселенского» дела. Не удивительно, что «поклоняйся идеалу царя» и оглядывай революционные вспышки истории оком марксовой материалистической схемы. Вячеслав Иванов для сказочной нашей действительности не находит в себе бодрых, веющих радостью слов. Удивительно вот что: в статье «Революции и народное самоопределение» удивляется он, что «революция ... как действие действующих ... обмирщена ..., отвлечена и отсечена от религии»***. Но ведь эту же отсеченность и признает он за должное. Русские люди, ушедшие в события переживаемых дней, переживают события безрелигиозно и трезво, и он, теоретик событий, противореча себе самому, напоминает им: «говорят тайновидцы, что на пороге духовного перерождения встает... страж порога ... Россия стоит у порога своего инобытия»****. При чем тайновидение, страж порога и прочие знаки душевно-духовного ритуала⁷ по отношению к революционно-народной волне, охватившей Россию, когда, по уверению Вячеслава Иванова, область духа от революции отмежевана, когда «двум господам вместе служить нельзя»? К чему lamentация: «революция протекает вне религиозно... Революция не выражает целостности народного самоопределения»***** ... Протекай религиозно она, она бы, по Иванову, не была революцией. Что революция переживается религиозно, об этом свидетельствует творчество наших лучших поэтов: «революционные поэмы» Сергея Есенина и «Песнь Солнценосца», принадлежащая Ключеву, полны революцион-

* «Родное и вселенское», стр. 56–57.

** «Родное и вселенское», стр. 69.

*** «Родное и вселенское», стр. 180.

**** «Родное и вселенское», стр. 177–178.

***** «Родное и вселенское», стр. 185.

но-религиозным экстазом⁸, в котором мне видится подлинный религиозный порыв, а не религиозно-холодные рассуждения, пестрящие и портящие страницы «Corardens». И Есенин, и Клюев, и многие им подобные, — суть «народ» в более прямом подлинном смысле, чем марксисты-богоискатели, проклявшие революцию и кощунственно обогрившие душу кровавым призывом к войне.

Революция протекает религиозно. Самоопределение народа в ней целостно. И тот факт, что Иванов, когда-то писавший десятки страниц об органической связи религии и мифа, трагедии с народной соборностью, — в революции русской не увидел осуществления своих пламенных чаяний, — показывает одно: пламенность чаяний вовсе не пламенна: «теоретична» она. Вячеслав Иванов изысканный «еоретик» практически действенных «теургических» достижений; в нем абстракция достигает последнего завершения: абстрактно она упраздняет себя, и Вячеслав Иванов последнею вышедшей книгою последовательно упраздняет себя, как вещателя «всенародных и творческих чаяний». Этим он упраздняет себя, как писателя, потому что смысл его утонченнейших построений в «апофеозе народного дела».

Оно наступило: он — выброшен им в недра, им же самим упраздненной эпохи: издавека-далека, в громы «мифов», овеявших нас, долетает его недовольный, брюзжащий, ненужный, надорванный голос! Он стоит перед нами со стопочкой написанных им книг, как печальное предостережение новаторам духа, не внемлющим времени и отстающим от... духа в конструкции никому не нужных абстракций о Духе.

Х

Абстракции в Вячеславе Иванове раздавили то многое, что он некогда в современности чуял. Учит он, что экстаз выявляет раздвоенность Диониса, что томлением к истине пламенеет театр; пафос этики озарил Диониса орфической церкви, откуда протек он, как Эрос в логической мысли Платона, где Эрос есть Логос.

Так учит он, призывая на путь посвящения; но «путь посвящения» абстрактен в Иванове; тракты истории остаются не вскрытыми им; остается не вскрытым экстаз и абстракция, порожденная головой, пресловутая «народность» его: это все спекуляция над бездною групповых вакханалий, а вовсе не вскрытие духа народа, светлого Диониса, преосуществленного в Логосе.

Вместо этого Диониса, он вывел лишь «варварского Диониса» и, отступая в мистическом ужасе от прозвучавшего лозунга «братства народов», подъятого русской народной душой, называет носителей этого лозунга он «оторванными интеллигентами» вопреки очевидности, что носителем лозунга перед нами слоят весь сплоченный народ. Наоборот: варварский Дионис (Каннибал), им вводимый кощунственно в христианские представления, воскресает в последней написанной книге, — призывом к нечеловеческой «бойне» народов; призывом к ужасному делу, которое называет «вселенским» он.

В год войны пишет он, что вселенское дело творим мы; причастие наше к кровавой войне, вырывающей миллионы безвинно загубленных жизней, вызывает в нем гордость: «Если же нет на нас вины самозванства, остается со страхом и верою причаститься предложенной нам страстной чаше», — восторженно восклицает он! «Причащением» названо им пропитие братоубийственной крови, к которому он причастен идеологией своих кощунственных заявлений; в то время, как он призывает других проливать свою кровь, не идя проливать своей крови, — с вершины Синая его озаряют духовные молнии («пусть вершина Синая облечена завесой облачной: его молнии озаряют нашу совесть блистанием... заповедей»^{*}). И эти «молнии совести», и эти моря пропиваемой крови — для водворения вожделенного строя в славянской ... громаде»^{**}. Когда «в Царьграде помирится Россия с Польшей» ... Итак, в центре — Царьград? Для примирения в Царьграде нужны ему миллионы загубленных жизней; ужасно славянство, если его «вселенская миссия» преодолеть свои поместные споры не где-нибудь, а в... Царьграде («пусть для этого гибнут десятки и сотни тысяч людей»). «С нами крест Христов» — восклицает Иванов: я думаю, что это не крест Христов, а топор каннибала, им когда-то возглавленный в дионисийской теории.

Относительно этой теории (выше видели мы) произнес веско Ницше: «мы имеем в виду огромную пропасть, которая разделяет Диониса грека от Диониса варвара»⁹. Вячеслав Иванов неспроста явился пред нами, как Сирий «кровавого божества»; это «кровавое божество» с последовательностью ученого теоретика он внедряет в славянство, где Фракийский Дионис признается

* «Родное и вселенское», стр. 7.

** «Родное и вселенское», стр. 11.

им за родоначальника славянских божеств: неудивительно, что дело славянства по Вячеславу Иванову есть «кровавое дело»; удивительно, что это кровавое дело он излагает в слащавейших, сантиментальнейших словах; соединение сантиментальности и жестокости — удел жуткого сладострастия, которым полна варварская идеология этого ученого Сирина.

«Темной окаменев громадой, повисло тяжко, тебя подавив, твое темное, солнце» — вот что можно сказать Вячеславу Иванову словом его драмы «Тантал»; мудрейшие прогнозы в грядущую эру Иванова некогда нам казались зажегшимся солнцем; но грядущая эра — уже при дверях: в ее свете Иванов является нам в ад низвергнутым Танталом, поддерживающим края темной, потухнувшей сферы идеологий своих.

Пожалеет его.

1918

